

...К моменту приезда в Кустанай кое-что было уже доступно моему пониманию. Ведь опыт дается жизнью, а жизнь начинается достаточно рано. Даже самые первые приветы памяти оказываются на поверку «жизненным опытом».

Вот в распашонке подпрыгиваю, вцепился в боковую кроватную сетку. (Сколько мне, если страховка еще не убрана?) Скачу, совершенно счастливый. Отец в это время раскладывает на полу пестрые камешки — привез из командировки на Байкал. Подарок сыну.

Одно память сохраняет, другое, гораздо, кажется, более значительное, стирает. По какому принципу? Нет ответа. Почему, скажем, забылось — знаю только по рассказам, — как однажды почти умер. Подцепил дифтерию. Задыхался, стал

синеть. Ничто не помогало. Тогда главный врач военной части, дело происходило всё в том же Иркутске, прибег к последней попытке вытянуть меня с того света. Рискую заразиться, стал отсасывать через трубочку ту гадость, что забивала мою гортань. Примерно так поступают народные лекари. Повезло — военный доктор не заразился, но почти бездыханного ребенка вернул к жизни. Почему, спрашивается, именно этого не помню?

В годы выкашивания Сталиным верхушки военного руководства Красной армии — это в основном конец тридцатых — отцу повезло быть молодым. До молодых руки тогда не дошли, или их припасали для будущего. Так под волну репрессий отец не попал, но кое-что успел увидеть. Вернувшись на Дальний Восток после годовой учебы в Москве, он не застал никого из прежнего начальства — все исчезли. Не было и того главврача, что через трубочку вытянул меня к жизни.

Иногда думаю: а может не совсем забыл? И живет на самом доньшке подсознания, тайно напутствуя на путях-дорогах, тот военврач со шпалами в петлицах, что рисковал собой, чтобы мне дожить до мемуаров.

Отчетливо помню, как там же, в Иркутске, принесли из роддома белый сверток — запеленатую сестру. Мне уже пять. С ногами сижу на родительской кровати, на покрывале. Сверток рядом. А взрослые в соседней комнате. Я кричу им нечто восторженное про этот сверток, про то, как радостно мне иметь теперь сестренку, кричу и одновременно понимаю, что на самом деле вру — нет во мне никакой особой радости, вполне ровен внутри, просто понимаю, что услышать мои восторги взрослым приятно, а я хочу им понравиться.

Лицемерие, конечно, не врожденное чувство, но то, что раннее — это точно.

Или первый день войны... Помню практически весь. Погода такая выдалась отменная. Был выходной, и с утра состоялся затеянный коллективный выезд офицерских семей в городской парк — для отдыха и развлечений. Мороженое, качели, фотографии. Некоторые сохранились. Мама, легкая, беззаботная, в выходном креплещиновом платье. Я рядом, прижимаюсь.

После полудня, когда усаживались в обратный автобус, откуда-то прилетела и стала распространяться по парку эта пугающая и странная весть: война! И никто не сказал «не может быть», — все поверили сразу. А когда автобус достиг пределов нашего военного городка, люди быстро и озабоченно повыпрыгивали из него и побежали на площадь к зданию штаба. Там уже шел митинг. На высоком пандусе перед фасадом стояла трибуна, на неё поднимались офицеры, вольнонаемные, офицерские жены — выступали.

А день продолжал быть ясным, солнце едва клонилось к закату, и голоса звучали уверенно, напористо: «встанем, как один», «враг коварен, но поплатится за свое вероломство», «два-три месяца... на чужой территории...», «могучим ударом», «с нами Сталин, первый маршал Ворошилов...».

Я в это время мотаюсь за спинами взрослых — вперед не протиснуться — вожу в воздухе бабочкой на булавке, как самолетиком, — трофеей из парка. И бабочкой порхает в голове легкая довольная мысль: вот и на мою жизнь пришла война! Хорошо. А то казалось, всё только в прошлом: тачанки, конница Буденного, строчит пулеметчик, шашки наголо! Теперь и мне повезло...

Мне долго потом казалось, что зафиксированная услужливой памятью радость от возможности пожить во время войны характеризует только мои симптомы задержки в развитии, но нет. Похожие признания встречал и у других мемуаристов примерно моего возраста.

Кто спорит: каждый из нас неповторим, каждый оригинален. Только почему-то глупости всегда подозрительно сходны.

Незадолго до того страшного исторического дня отец получил новую квартиру. Она была в новом красивом, под белой штукатуркой кирпичном доме у самого городского парка. А в парке — открытый небу амфитеатр, дощатые скамейки и сцена с гулкой раковиной. Естественно, ни один концерт я не пропускал. Не пропустил и гастроль оркестра Леонида Утесова. Да, можно записать в анналах: за считанные дни до войны Утесов выступал в Иркутске. То, что присутствую «при событии», конечно не осознавал. Пялился на сияющие саксы и тромбоны, на музыкантов в бриолине, в концертных белых костюмах. Они дружно подсакивали и туда-сюда слаженно поводили трубами, будто стая гусей клювами при раздаче корма. Праздник!

А самым красивым, уверенным, первым парнем на гульбе был, конечно, тот, кто на упругих ногах ходил перед оркестрантами, — Костя из «Веселых ребят», молодой и стройный, уже набравший к тому времени свою эстрадную славу Леонид Осипович Утесов. Сипловатый душевный голос брал в полон, а артист к тому же перемежал пение короткими беседами.

Не знаю почему, но одна из тех реприз застряла в голове: поспорили двое — кто больше стопок выпьет. Причем один закусывать отказался. Ему говорят: «Хоть булочкой закуси!» Не хочет. Наконец, сдался: после ...надцатой закусил. И рухнул без чувств. Но вымолвить успел: «Вот что твоя булочка наделала!»

Хохот был в зале изрядный, конечно. А я, как видите, запомнил ту репризу на всю оставшуюся жизнь. Незамысловато шутили перед войной.

Когда «на раннем этапе творческого пути» сочинял для эстрады, — как-то по всей Москве даже афиши висели: новогодние концерты в Лужниках «Вот и стали мы на год взрослей», много, и кроме того, сочинил куплетов-фельетонов, — так любил иногда с серьезным видом пробросить при застолье: «Так я же ученик Леонида Утесова! Еще с довоенных времен...»

А рядом, короткой вспышкой, следующая картинка: папа собирается на фронт. Балконная дверь раскрыта, за ней тот самый парк с эстрадой, там всегда теперь тихо, а здесь, перед балконом папа, легко сгибаясь, натягивает на икры хромовые голенища, подтягивает, прихлопывает ладонями. Он молод и крепок, как трюкач на арене, и сапоги его сияют.

Я рядом — сурком на кочке. Где-то и мама здесь, где — не запомнилось. Запомнились наставления отца. Преподаватель политических дисциплин в войсковом училище, он по привычке и сейчас вещает веско и доходчиво: «Слушайся маму!». И добавляет, закончив с сапогами: «Маме помогай, ты уже большой».

Последнее слышать отрадно: вот и папа признал, что шесть лет — возраст зрелости. Мои достоинства признаны, мне, как большому, оказано доверие, лично на меня возложена конкретная ответственность — помогай! Я готов! Не пионер пока, но «Будь готов — всегда готов!» давно и прочно во мне посеяно. С самого детского садика.

Волочу карликовый стульчик вдоль стены, а на ней, надо мной — большущий портрет Сталина с девочкой Мамлакат на руках. Помню, что смотрю на себя его глазами: конечно мальчик не очень складный — голова великовата, ноги кривоваты, — думает, как мне кажется, этот портрет, — но какой же он разумный, этот мальчик со стулом, исполнительный, преданный! Наш мальчик!

Надо ли удивляться, что именно я в скором времени в глубинных лесах Сибири выловил настоящего шпиона.

Провал шпиона у Родины в тылу

Очень скоро, не запыхав сапог, отец вдруг снова возник в Иркутске и, не теряя времени, переместил нас в деревню Асино Томской области. А там, напишет потом в воспоминаниях, «тайга подступала к окнам». В должности начальника политотдела ему предстояло срочно создать в этих лесных дебрях школу военных авиамехаников.

Поселились в сторожке путевого обходчика. Вокруг сугробы и мощные ели в снежных шубах, всё видимое окрест скроено щедро, размашисто, как на вырост. Сибирь!

Оно бы всё и ничего, но по прибытии выяснилось, что приехали мы напрасно. Оказывается, пока перемещались, Генштаб свое решение о создании этих школ уже отменил, но сообщить о том Главному политическому управлению забыл. Вот Главпур и продолжал рассылать своих комиссаров по объектам, которых не только не было, но им и быть не полагалось. Всякое случалось в неразберихе первых месяцев войны.

Наступал новый, 1942 год. Отец успел установить в нашей сторожке елочку, причем в тайгу не углублялся, срубил под окошком, и отбыл на войну окончательно — на Брянский фронт.

Мы же, семья, остались на месте: среди сугробов, с лесами вокруг, чтобы мерзнуть и по-настоящему голодать. У меня по телу пошли гнойные свищи. «Лекарства не помогут, — сказал асиновский фельдшер, — хорошо бы подкормить сливочным маслом. Постарайтесь достать». Мама достала. Аккуратную горку на блюде выменяла за крепдешиновое платье, в котором фотографировалась в парке — в день объявления войны. Ел с пальца и не мог остановиться.

От несостоявшейся школы авиамехаников осталась память: длинная приземистая казарма, еще нечто штабное из бревен с широкими ступенями у входа, ну и всякого рода подсобные возведения с незаконченными крышами. Вокруг колючая проволока. Из живой силы — десятка полтора-два озабоченных солдат — в нынешних терминах: «комиссия по ликвидации предприятия».

Живые люди притягивали. Было видно как они там, на плацу за проволокой строятся, маршируют, что-то копают, перетаскивают, укладывают — несут свою службу. Служба, как говорится, идет.

Дислокацию обрисовываю не случайно: требуется знать для полного представления о подвиге ради поимки шпионского гада.

Так вот. Как-то в лесу, миновав подсохшее болото, через которое ходил в поселковый детский сад (кстати, ходил самостоятельно; мама на службе в парткабинете; по дороге, если делалось страшно, начинал орать патриотические песни, что помогало), заканчивая привычный маршрут, в полутемной чаще вдруг увидел одинокого мужчину. Меня он не видел, и вообще по сторонам не смотрел. Он что-то сосредоточенно выглядывал в заваленной сушняком глубокой и длинной канаве, еще недавно бывшей, похоже, учебным окопом — остатки военного расположения были недалеко. Человек осторожно продвигался по краю этой канавы, наклонялся и что-то упорно пытался там рассмотреть. Самые худшие подозрения возникли сразу. Тем более, что субъект был во всем темном, длиннополом, был сутул и руки держал в карманах. «Что здесь делает? Откуда взялся в дремучем безлюдье? Что выискивает?» — промчался в голове рой вопросов, и ответ родился единственно возможный: ищет им же заложенную взрывчатку! Это — шпион! Папа бьется на фронте, а шпионский гад замышляет здесь!

Медлить было нельзя. Он мог уйти. Мог успеть приступить к диверсии. Скрываясь за стволами, я бесшумно отступил на безопасное расстояние, и что было духу пропустил в сторону родной своей воинской части.

Часовому сообщил, задыхаясь, что для срочного сообщения мне требуется командир. «А что такое?» «Командира! Срочно!» Постовой пропустил. Рассудил, видимо, что ни для обороноспособности Родины, ни для остатков несостоявшейся школы авиамехаников я угрозы не представляю.

Историкам еще долго предстоит разбираться, что это такое было — «советский человек». Что за социальный, общественный, психологический феномен? Как складывался, из чего выростал? Как получались у них шестилетние мальчишки, готовые при самых средних своих аналитических способностях увидеть даже в одиноком грибнике вражеского лазутчика? Смешно, конечно, но все-таки... Не та ли всеобщая народная заостренность на борьбу и Победу, в буквальном смысле — «от мала до велика» (или от «велика до мала»), эта вот — народная мобилизованность и обрушилась, в конце концов, на московскую брусчатку снопы из частоколов поверженных фашистских штандартов?

Командир части — свежий молодой человек с тремя кубиками в петлицах — увидев меня в дверях дощатого кабинета, удивления не выказал — будто регулярно встречал детей с докладами. А я на его пороге разразился рыданиями, не выдержал — от напряжения чувств, от груза впечатлений, от того, что делом помогаю папе, что бдительный, и, значит, образцовый!

Старший лейтенант успокаивать не вскочил, не бросился гладить по головке, — остался сидеть, где сидел, и только старался понять, какая суть не может прорваться сквозь мои неуправляемые рыдания.

Когда понял, тоже не изменился. Возможно, понял больше того, что говорили слезы и означали мои жесты в сторону леса.

— Проверим, — сказал он серьезно, как взрослому. — Спасибо, молодец. Всякие могут тут шастать. Хорошо, что сразу. Сейчас вышлю людей.

Вечером обо всем рассказал маме — теперь уже спокойно, без слез. Одним шпионом стало меньше — можно успокоиться. Мама прижала к себе мою голову, погладила её, и тут я обнаружил, что она почему-то плачет.

...Так что, когда высадились семьей на берега Тобола, определенный багаж прожитого и пережитого у меня все-таки имелся. Кроме перечисленного, можно вспомнить, что к тому времени я уже летал на американском «Дугласе», видел их «Кобры» и наши азросани, блевал над сибирскими хребтами, умел сушить Люсины пленки в окне мчащегося вагона, представляя себя парламентарием с белым флагом. Да что там: мне уже не надо было объяснять, что значит «быть заеденным клопами» — в том же грохочущем вагоне или где-нибудь в жиле на пересадках. Здесь был почти безупречный метод борьбы с полчищами — ставить на ночь ножки кровати в банки с водой — устраивать клопам водную преграду. Плавать они не могут. Но на беду неплохо соображают: ночью по стенам выбираются на потолок и сыпаются на тебя сверху.

Много знаний накопило человечество. Шаг за шагом начинал их осваивать. Проигрывая в одном — тем же клопам, скажем, — вполне креативно набирал очки на другом. Повели, скажем, в первый класс — это осень 1942 года, населенный пункт Асино. Школьных тетрадей нет даже как понятия. И что? Вывожу свои кривые палочки с правым наклоном в тетрадках, сшитых из газет. Сам резал и шивал. Выуживал грамотность между строк.

Там же, в Асино, впервые поучаствовал в борьбе за жизнь ближнего своего. Звучит красиво, а выглядело довольно прозаично. От общего истощения у двухлетней Люси стало ухудшаться здоровье... Жили уже не в сторожке, а в закутке за местной типографией, до маминого парткомовского кабинета было через поляну. Я мчался к ней, она мчалась домой и с осторожной точностью нежными своими пальцами приводила дочку к норме.

«Учись, мой сын, науки сокращают нам опыты быстротекущей жизни...» Опыты приходят не спросясь. Приходят и остаются, встречаем их безропотно, вспоминаем благодарно. Но порою не в силах постигнуть смысла, таким он бывает таинственным. Ну кто объяснит, почему нас тогда забросило в Асино, если маму зовут Ася? Жизнь заканчивается, а ответа нет...